

I. КАК ЛУЧШЕ НЕ ВЫЖИТЬ В ДОМАШНИХ УСЛОВИЯХ



НЕВОЗМОЖНЫЙ РАССКАЗ

Между собой называли цветок Невозможкой. В ботанических справочниках он фигурировал как *Impossibile mundi*¹. В отличие от других мухоловок, растение не только питалось предписанной виду диетой, но и плодило из сожранных мух... красоту. Переварив за ракушками розовых, плотных, похожих на ухо свиньи лепестков скормленных ей цокотух-копрофагов, спустя пару недель Невозможка враспах отворялась узорами глянцевого бабочек, запечатленных на внутренних веках ее неприглядных, иначе конфузливых ставенок. Прежде чем приоткрыться, лепестки ненадолго румянились, словно умильно краснели в щеках, виноватились: вишь ты, опять в нас чудн^я наготовилась!..

Ранней весной керамический круглый горшок помещали в поддон с дождевой или талой водой. Ближе к июню по внешней оправе окна раскатывали стеклотканевую вуаль, защищая от солнца цветок сетчатым притенением. С ноября уменьшали полив и зажигали коптиться белесый торшер. Зимой следили, чтобы градусник в комнате не опускался ниже пятнадцати цельсиев. По истечении антезиса² (май и все

¹ Невозможный мир (*лат.*).

² Зд.: срок цветения (*лат.*).



лето, сентябрь и треть октября) удаляли пинцетом больные розетки, разглаживали утюжком отлипшие лепестки и подшивали сушиться в гербарный альбом с указанием даты и года, уже захромавшего в хмурь календарной гибели. Потом похвалялись знакомым коллекцией бабочек, ни одна из которых не ведала в жизни ни истинных крыльев, ни райской тревоги полета.

За ненасытность в питье Невозможку журили пропойцей. Напрямую, однако, ее орошать возбранялось — взамен надлежало опрыскивать кучно окольные воздуха: капли хлорной московской воды оставляли на листьях зловещие ржавые пятна, точно ожоги на коже от брызг кислоты. Та же чума настигала растение при попадании ярких лучей. А еще полагалось его ограждать от любых сквозняков и визгливого шума: в придачу к капризам здоровья, мухоловку среди прочих собратьев выделял щепетильный к скандалам, разборчивый слух. Из-за истошного воя сирен, буравящих зыбкий, поверженный город, побеге ее вывертывались столбнячными закорючками, клешни костенели, а ворсистые сязки начинали ничтожно подрагивать. В такие минуты хозяевам, взятым врасплох безотчетным стыдом, мнилось, что их привереда цветков одержим сокровенным испугом — перед тем, что вершилось вовне, за герметичными окнами. Объясняли ли припадки приема его первобытно-тропическим происхождением или, напротив, заморской вельможной чувствительностью, так и осталось загадкой. В инструкции по уходу за «мундиком» о ветвях родословной умалчивалось и сообщалось лишь о технических сторонах кропотливого попечительства: обеспечить хороший дренаж, в смесь для посадки докладывать торф с измельченной корой, слегка приправлять листовой землей с жженой дранкой древесного угля и на всякий пожарный подстраховаться аккумуляторным увлажнителем, включавшимся автоматически при сбоях в электросети.

КЛАД

* * *

Если б не мухи в тот март, распаленный авральной горячей и, вместо хлюпкого ранца протравленных сырью недель, приволокший на потном хребте косохлесты апреля, никакой Невозможки в их аскетичной квартирке не поселилось бы во-все. К любым несъедобным образчикам флоры оба супруга были всегда равнодушны, а потому намеки кто, что им предстоит ковыряться в крупитчатой почве, шмыгать помповым пульверизатором и млеть по-ребячески, щупая слойчатый бархат мясистого венчика, они бы пожали плечами: вздор, дескать, пошлость и глупости.

Удочерение экзотично-стеснительной хищницы предрешилось порывом спонтанным, наколованным ливнем и случаем.

Прячась от хлынувшего дождя и в огиб петляя по рантам булькочущих луж, они (невесть отчего будто снова юнцы, не-впопад суматошные шалой, куражистой радостью) юркнули под козырек на Кузнецком Мосту и подстрекаемые взбалмошным роком впорхнули в сырой каземат ароматов и пестрых когорт из ведерок, кашпо, рахитичных кустов и торч-кастых букетов. В нос шибануло кладбищенски-свадебным запахом, и тотчас же вольный, мятежливый хохот, подру-бленный щелкнувшей дверью, сорвался с резьбы, заскрипел тормозами, глумливо икнул и закашлялся. Споткнувшись рас-терянным взглядом об алое скопище роз, снежки хризантем и разъятые жалами зева азалий, муж попятился, что-то задел, уронил и поехал ногой по разбухшей картонке, криволапо простроченной пьяненькой тропкой из заплетенных в ко-сицы следов. Жена удержала за локоть, пригнулась к горшку и поправила бирку. Дабы загладить сумбурность вторжения, изобразила живой интерес, прикусила в раздумье губу и на-целила палец в ярлык:



Алан ЧЕРЧЕСОВ

— Извините нам наше невежество, этот странный цветок ловит мух?

Продавец — хоботастый корсар с нахохленной бровью над тусклым сомнамбульным глазом — оказался щербат и зануден. Кивнув одобрительно, он пожевал со значением прельй, напоенный терпкими зельями воздух, исторгнул его с трубным свистом, а как снова обвис парусиной брылей, загнусавил протяжный акафист многоголовому карлику, кротко павшему ниц сыпкой гроздью двуданных бутон, похожих на створки поддельных игольчатых устриц. Затем спохватился, вздыбил под пухлые ноздри ладонь и, подобно закрылку авиалайнера, умело ею повертывал, заслоняя клиентов от залпов беззубой своей, назидательной дикции. На проперченном ложбинками оспин запястье синела наколка: «Салага, драй палубу!», а на втором кулаке, придремавшем кутенком в защите железной груди, скучающий муж кое-как, по обкорнанным полуслогам, из-под тире и извивов тельняшных полос расшифровал и вторую команду: «Капитан, задрай люк!»

Третий «драй» заорал из подсобки.

— Жако, — пояснил продавец.

— Дррааай! — отозвался гугнивый жако.

— Бонифаций, мой попугай. Думал, беру африканца, а всучили фашистскую попку. Видно, какой-то немчара ната скал в малолетстве считать. Набрехали на рынке, что шпрехает до двадцати, да только его как заело: дальше трех обормот не прокаркался.

— Нас-то он сосчитал — не ошибся, — тактично заметил супруг.

— Дрррай! — подтвердила кичливая птица.

Женщину вновь передернуло.

— Чтоб тебя!.. — рывкнул назад продавец, извлек из тельняшки кулак, колыхнулся медузными персями и погрязил

КЛАД

апатично в таинственный сумрак. — Угадал, аферист. Должно быть, сегодня замкнуло на «драй». Ту неделю, к примеру, все цвайкал на публику, как заведенный. Лопать горазда, а ума — как у зяблика.

— Дрраай! — возмутился задетый жако.

— Да вы не шарахайтесь так, я его, дармоеда, днем в клетке держу, не то обкромсал бы в лохмотья всю лавку... Коль приглянулось растеньице, не церемоньтесь, потрогайте. Глаз, как и нюх, обморочить легко, а вот осязание — дудки... Точно дельфинка, ласкается, чувствует? Эпидерма редчайшая. По мне, шелковистая замша. Товар высший сорт — от бакборта до штирборта! Экземпляр «три в одном»: и цветок, и охотник на мух, и художник. Погодите-ка, я вам сейчас покажу.

Водрузивши на хобот очки, пират послунывил короткие пальцы и зашуршал в каталоге. С минуту сопел и сердито трепал середину, а когда отыскал наконец, взбороздил стальным ногтем латинскую подпись под сочным, раскидистым снимком и, внушительно крякнув, крутнул к покупателям:

— А? Хороша вышиванка? Рукоделие природы-кудесницы. Хоть под лупой смакуй. Кружева, что гипюр. Зацените и тонкую выточку: будто ткань позументное. Виртуозный орнамент! Ажур. Или как бишь его? Аккурат на поддевку к фестонам водилось словцо повихрастей...

Он опять запыхтел, сколупнул с беспокойного носа очки, поморгал в потолок, не нашел, постарел и расстроился.

— Финтифлюшки такие, — прошамкал. — Но как бы не наши, а вроде восточного танца, с пупком.

— Арабеска?

— В десятку! Арабка с бесенком. Щекочут язык, а в пучок повязать упираются... Так мне чек пробивать?

Муж поднял глаза от журнала и перевел на супругу.

— Блеск! — восхитилась она. — Если фото кому переслать — натуральные бабочки.



— О том и толкую. Мастерство у мальчика филигранное. Будет верой и правдой служить, да еще рисовать между делом абстракции. Не потратив гроша, соберете свою галерею.

Картины супруга любила.

— Как потрескает комнатных мух, подсоблю. У меня в зоомаге на Полежаевской кореш. Аппетитец обжорный, имейте в виду! Намедни скормил шельмецу таракана. Думал, помуслит чуток, да и выплюнет. Черта лысого! Схрумкал, как семечку, и не поморщился. Так что ежели к вам на уют поналезут усатые твари...

Цветочник осекся, поник, затуманился меркло очками, флегматично пошарил под задом и плюхнулся на табурет.

В тот же миг над бугристой макушкой державным клеймом оголился безусый портрет-оберег, застращал со стены типографской зализанной плешью.

— Едрит твою мать! — не сдержалась жена. — И отсюда проклянулся.

— Дррай! — пробудился опальный жако, но затем стушевался и петушком закудахтал из дебрей своей преисподней.

Покупатели порскнули.

Лавочник выдавил с грустью:

— Хулиганьте, пока хулиганится. Я свое отпроказничал. Спасибо еще, что не вымер, как мамонт, от духоты, а чинно-кручинно отделался астмой. — Он достал из штанов ингалятор, пшикнул в могильную пасть и, выпихнув пробку из легких, задушенно просипел: — Настудило меня на арктических льдах, приэкваторным солнцем до почек прожарило, четверть века швыряло на качках с востоков на запады, однако ж такого раздрая, как здесь, и в аду штормовом не встречал.

— А вы оптимист, — пошутила жена.

КЛАД

— Оскорбляете, дамочка! Глубже лотом макайте, под киль футов эдак на тридцать: циник я, мракодумец. Не зря с мариманства кликуху стяжал — Похоронщик. Чуть кто ноту фальцетом взвинтит, я ее уж гноблю да крамзаю. Слабавато нутро у меня на экстазы и пенные заплески. Плохо пафосы терпит, изжогой на них огрызается. Все эти *святые отчизны, ни пяди земли, назло всем ветрам, живот на алтарь положу...* А сами калечному в шапку рублишки не бросят истерханной! У нас чем взасосней целуют, тем беспардонней хамят, чем азартнее в дружбе клянутся, тем прытче сдают с потрохами... Хотите открою свое погребальное кредо? Лучше быть мизантропом, потопшим в цветах, чем тонуть гуманистом в дерьме человечьем. Где-где, а в родных берегах этой замеси вдосталь. Она-то и есть главный наш неоскудный ресурс, первоисточник национальной энергии. Торгуйте на экспорт три тысячи лет — дефицита не будет... Все бы ладно, но есть в нас чреватей особинка: разрушители мы. Естественном и преемством своим — портачи, бракоделы, идей извратители. Коли в мире чего и поклеится, а потом по наивности, из благодти иноземной, к нам на хлеб-соль поплывет, хренопупия ихняя так о российский причал чекалдыкнется, что разлетится в щепу. Посему в наших весах при наших гонористых спесях от прусаков или бункерных слизней, — он мотнул головой на портрет, — спасу не было, нет и не будет. Вон и время в кой раз перекосное... Тараканья страна! Хоть «полундра» кричи.

Клиенты синхронно поежились.

Прежде чем тенькнет безвыходно дверь и кто-то — матерый, пружинистый — двинется быстрым добычливым шагом к их спинам, муж постучал костяшками пальцев по деревянной столешнице и, вынув бумажник, по-свойски прищурился:

— Зато дефицита мух ожидать не приходится.

И осторожно подумал: особенно трупных...

Алан ЧЕРЧЕСОВ

* * *

Оговорив с толстяком возврат импосибля в течение месяца (без возмещения уплаченной суммы), супруги рискнули попробовать.

Вот что запомнилось: едва выбрались вон, как дождь сам собой прекратился, и патлатое небо, смахнувши с зеницы бельмо, засверлило сквозь тучи подмигчивым радужным солнцем. На воспрянувшей улице слезно зеркалились блики витрин, полоскались тряпицами мокрые флаги, а у перекрестка с Петровкой, стабунившись под светофором, пререкались клаксонами автомобили, сплошь в горошинах капель на маслянистой броне.

Где-то в изытой, обманчивой выси, в бравурных, надмирных мечтах замерещились звонкие птицы. Перепрыгивать лужи вдруг стало легко, беззаботно, почти что отчаянно.

— Радуга — это к добру, — повторяла жена, прижимая к жакету укутанный в пленку горшок.

— Я ее лет уж сто здесь не видел, — откликнулся муж и скропал про себя уравнение: «Сто не сто, а уж двадцать — как пить дать».

— Благодарный презент Невозможки? — хихикнула женщина. — Вот и имя ей найдено.

* * *

Продавец не солгал: шефство над нежно-коварным цветком обременяло их мало, скорей утешало, забавило. Опекать чужеземца в четыре руки было вовсе не хлопотно: соблюдая календарь и часы да сверяй их по градуснику.

Несмотря на привязанность к мундику, у четы не возникло и мысли расширить ботанические уголья: в мухо-

КЛАД

ловке они обрели нечто вроде питомца — не просто растение. Заодно разрешился и спор: кошка или собака. Вышло ни то ни другое, а — лучше.

* * *

К Новому году у них накопилось с полсотни шедевров. Гости учтиво листали альбом, впечатлялись восторженно, исподволь ерзали и деликатно глотали зевки.

Это хозяев коробило.

Спровадив захмелевших визитеров, супруги сдирали с резиновых губ зачерствелые корки улыбок, зычно стонали и принимались мыть косточки:

— Лицемеры! Будь у нас дети, они бы и с ними вели себя так же, — хорохорился муж и досадливо бряцал тарелками в раковине.

— Эстетический вкус в наши дни — раритет, — удручалась жена, соскабливая со скатерти клещи присосавшихся крошек и оттирая тряпкой впившиеся в кляксы голоса.

Перед сном проверяли замки на двери, затыкали крючком металлический паз и желали цветку сладких грез:

— Доброй ночи, дружок.

— Фееричных тебе озарений!

* * *

Часто вслух размышляли о том, что искусство воистину требует жертв.

— Для всякой картины ей нужно убийство. Тебя не смущает?

— С другой стороны, убивается ею лишь зло. Разве нет? Что хорошего в мухах?

— «Когда б вы знали, из какого сора растут поэзии цветы...»

Алан ЧЕРЧЕСОВ

— Я бы переиначил: «Когда б вы знали, из какого зла растет в цветах поэзия...»

— Прикольно. И очень похоже на правду. Будем считать, что мундик у нас — Караваджо.

Так у цветка появился творческий псевдоним.

* * *

В будни супруг подвизался на службе. Должность сотрудника Росгосархива обломилась ему по знакомству с пасынком помзамминистра.

Казенное место особых талантов не требовало, но наличие диплома по русской истории, склонность ума к педантизму, умение молчать с девяти до шести, а также не слишком болтать до и после в конторе приветствовались.

Что до жены, та обычно корпела в квартире за древним, угрюмым бюро, доставшимся ей от знаменитого деда-профессора, а по средам и пятницам отлучалась на три бесполезных часа в свою альма-матер, где ей, бывшей круглой отличнице и внучатой племяннице прежнего ректора, скрепя сердце доверили факультатив по худпереводу для четырех вечно сонных, судьбой разобиженных дев.

В институте зарплата была курам на смех, зато недозанятость в вузе сэкономила силы на выполнение заказов от юридических фирм, турагентств и издательств. Свободно владея английским, французским, почти что — немецким и ухитряясь еще мимоходом толмачить статейки с испанского, у адвокатов, дельцов и редакторов полилингвистка была нарасхват.

Время от времени ей попадались проекты весьма интересные.

— Сложнейшая вещь! И язык изумительный. Тот слу-

КЛАД

чай, когда изначально понятно, что перевести адекватно нельзя, но не переводить совсем нельзя еще больше.

— Поздравляю, — подтрунивал муж. — Теперь у тебя есть игрушка на несколько месяцев.

— Все достойней, чем пыль по архивам глотать, — заводилась она, — и топтаться годами в курилке с такими же трутнями.

— Между прочим, я не топчусь, а пишу диссертацию. Это вам не разыскивать в склепах истлевшие рифмы или бубнить до мозолей во рту околесицу чокнутых гениев. Я занимаюсь наукой.

— Не гори ерунды. Любая наука предполагает конкретность и доказательность базы. У истории с этим беда. Так что в плане аутентичности даже дрянной перевод даст вашим липовым штудиям фору.

— Перевод — не наука, а интерпретация. Причем субъективная.

— А история — нет?

— История — это наука о том, как найти здравый смысл в сумасбродстве эпох.

— Наука способна учить. История — нет.

— Может, дело в плохом переводе ее августейших уроков на ваш рифмоплетский язык?

— А может, в косноязычии тех, кто в ней роется, чтобы найти хоть какой-то приемлемый смысл в бесконечной бессмыслице?

— Кто б говорил! Перевод есть синоним санкционированного косноязычия. Сами же признаетесь, что больше, чем на худую четверку, переложить самобытность оригинала вам, ухажерам цитат, не в подъем.

— Как и вам — воссоздать достоверно одну лишь минуту из прошлого. Куда там отстроить века! Только вас не оттащишь от этой кормушки и за уши.